



Юрий НИКИТИН

Мне – 65

«ЭКСМО»

2004

Никитин Ю. А.

Мне – 65 / Ю. А. Никитин — «Эксмо», 2004

Едва ли не самый брехливый и в то же самое время скучный жанр – мемуары. Автор старательно кривляется, описывая жизнь, которую хотел бы прожить, но читающим все равно скучно. Вообще, заведя на титульной странице слово «мемуары», стараются не брать в руки. И вообще, что может сказать Никитин? В Кеннеди стрелял вроде не он, во всяком случае, не признается, порочащие связи с Моникой тоже отрицает, что совсем уж неинтересно. Шубу, правда, вроде бы спер, не зря слухи, не зря, но что шуба? Так, мелочь. Вон какие скандалы каждый день! И в то же время – самый трудный жанр. И почти невозможно писать так, чтобы прочли все, чтобы дочитали до конца.

© Никитин Ю. А., 2004

© Эксмо, 2004

Содержание

Предисловие	5
Часть 1	7
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Юрий Никитин

Мне – 65

Тем, кто поймет эту книгу

Предисловие

Странно, да? Тридцать лет увильгивать от интервью, отказываться от встреч, не посещать конференции, съезды и прочие тусовки... а тут вдруг взял да выдал ворох воспоминаний! Ну да это ж козе ясно: всякий старый пердун, как только в маразм впадает, сразу же начинает рассказывать, какие они все были белые и пушистые и какая сейчас молодежь ни к черту.

Да и что за мемуары могут быть у Никитина? Другое дело: Столыпин, Рузвельт, Черчилль, Курникова, Бритни... Если мемуары, скажем, Черчилля, то про самого Черчилля можно и не читать, но вот про ту странную эпоху, в которой жил, про нашу страну, где бывал не раз, про его видение Сталина и России – любопытно. Про Курникову отдельный разговор, все понимаем, чего ждем от ее мемуаров, но что от Никитина?

Как уже сказал в аннотации, обожаю трудные ситуации и нелегкие задачи. Вызов принят, работа выполнена. Вот перед вами мемуары Никитина, которые, надеюсь, отличаются от большинства мемуаров. Почему так? В первую очередь потому, что умею смотреть не так, как абсолютное большинство, а смотрю, как НАДО. И как правильно. Если осилите эту книгу, на многие вещи отныне сами сможете и будете смотреть иначе. И оценивать по другой шкале.

Вообще я уверен, что мемуары могут быть интереснее иного боевика. Нужно только писать их для читающего, а не для себя, любимого. Беда в том, что чтение мемуаров напоминает листание альбома с семейными фото в гостях: хозяин самозабвенно токует, рассказывая, что вот он на горшочке, а вот на детском велосипеде, а вот какает под кустиком, а несчастный гость украдкой проверяет на ощупь толщину альбома.

Конечно, можно сказать многозначительно, как говорили в старину и как все еще говорят те убогие, которые хотят дурам казаться великими и загадочными талантами, – вдохновение посетило, сказало: пиши, а я подиктую. Но по вдохновению пишут только дилетанты, они никогда не поднимутся выше подножия пирамиды, где на вершине – жесткие профи.

Да и пора развеять очередное, но очень уж устойчивое заблуждение. Сейчас чем ленивее дурак, тем упорнее твердит о том, что все эпохи похожи одна на другую, что люди всегда были одинаковы, менялась только одежда... Словом, порет те привычные многозначительные глупости, в основе которых всего лишь тупость и нежелание копаться в источниках, изучать материал, а жажда побыстрее сляпать книжицу, фильм, пьесу и сорвать куш.

Это было всегда, и когда видите как сытый и важный дурак с экрана вещает, что в таком-то его историческом фильме он исследовал глубины души, тайные фрейдовские мотивы поступков таких-то деятелей, то читайте между строк: я, честно говоря, поленился хотя бы прочесть книгу, которую экранизирую, или малость узнать о той эпохе. Просто велел костюмерам натянуть на актеров костюмчики, примерно подходящие к эпохе... а критикам можно сказать невозмутимо, что исследую глубины души, а души у всех-де одинаковы!

Черта с два. Я застал краешек эпохи, которая отличалась от нынешней настолько, что не поверите просто – насколько. Но это было – читайте. А дед мой застал еще более дивные времена, о тех и пересказать страшно – не поверите вовсе. И когда мой дед, тогда еще молодой, с другими мужиками и бабами забивали кольями колдунов, наводивших порчу на скот, насылали град на поля, превращались в черных котов и увечили коров, а утром как ни в чем не бывало приходили в гости – то это еще только цветочки! И ведьм топили. И каждую весну

ребенка закапывали на меже, чтобы урожай был... И стариков увозили на саночках в зимний лес и оставляли там, чтобы освободиться от лишних ртов. Ладно, молчу-молчу. Но смешно, когда говорят, что в эпоху князя Владимира на Руси ну не было никаких человеческих жертвоприношений, тишь да благодать патриархальная!

Впрочем, дело не в прошлом, я как раз о будущем. Оно тоже не будет таким, как его представляли в XVII веке или видят в нынешнем 2004 году. Оно будет таким удивительным и... неприятным, что редкий из ныне живущих принял бы. Как, скажем, не принял бы великий Пушкин нынешнюю эпоху, где отняли имение и дворянство, а чернь, которую так презирал и порол для забавы, уравнилась с ним в правах.

И еще. Это не роман, где плавно и ровно течет действие, а воспоминания. У воспоминаний странная особенность выныривать из памяти яркими цветными камешками. Ну пусть не бриллиантами, а стекляшками, но все равно это мозаика, собранная из множества фрагментов с четко очерченными краями. Конечно, я отбирал только те, что ложатся в картину, которые соответствуют ей, а она все-таки не обо мне, как вроде бы надо, исходя из жанра, а совсем-совсем о другом. Однако получилось или нет, судить вам.

Наверняка каких-то ярких камешков недостает. Что ж, вспомните – пришлите на frog@elnet.msk.ru. Составим летопись самой удивительной эпохи. В самом деле самой удивительной.

Часть 1

Я прекрасно понимаю, что большинству из вас я абсолютно неинтересен:-)). А что раньше избегал интервью, это понимают так, что, мол, мэтру сказать нечего, а книги за него негры пишут. И вообще, наверное, у него тиражи вниз пошли, раз вдруг целую книгу о себе, замечательном и великолепном, которого любит, соперников в этом деле не имеет.

Чтобы еще больше усложнить задачу, обещаю, что ничего не привру и не приукрашу. Всего лишь скучнейший быт. Бытописание, было такое ругательное слово. Еще раз предупреждаю: не боевик, не фантастика, не ужастик, надо бы просить наборщика выделить это крупным, жирным, толстым шрифтом, или, как теперь говорим, врубить болтом. Чтобы увидели сразу и покляли книгу взад на прилавок. А взамен цапнули лежащий рядом боевичок. Можно того же Никитина:-))

А в этой книге всего лишь скучнейшишачий быт... да-да, всего лишь серый быт!.. Правда, все мы понимаем, не совсем уж тупые, что если автор *действительно* умеет писать, а не просто таким его расписывает в рекламном проспекте издатель – кого еще не называли супермастером, покажите! – то любое написанное должен суметь сделать интересным. А то иные мастера с литературными премиями с головы до ног даже фантастику ухитряются говнякать серостью и занудностью!

Итак, год 1939-й... Пофигу, что не поверят и будут, погыгыгикая, махать пальцами, приставив большой к виску, но я хорошо себя помню... с внутриутробности. Конечно, тогда еще не знал, что то странное состояние называется внутриутробным. А затем в самом раннем детстве то непередаваемое ощущение, которое накатывает обычно перед сном, воспоминание о счастливом плавании в околоплодных водах. Однако оно посещало очень часто. Именно в то время, когда укладывался спать, скрючивался, как мы в большинстве делаем, в позу эмбриона. Разум постепенно гаснет, накатывает теплая волна блаженства, исчезает мир, наступает странное состояние невесомости... воспоминания о невесомости, о некоем рубеже, к которому так сладко и таинственно приблизиться.

А потом в памяти осколки ярких картинок: склонившееся сверху женское лицо, что занимает весь мир, голоса, зеленый двор, люди-гиганты, что ходят на высоте, а я вижу только их ноги, слышу громахающие из-за туч голоса. Иногда что-то поднимает меня и швыряет в воздух, а потом огромные теплые ладони выхватывают из того же воздуха.

С трех лет я уже рисовал дедушкиным карандашом на выбеленных стенах людей и лошадок. По дому ходят большие крупные люди, везде витает запах столярного клея, дедушка постоянно мастерит лавки, табуретки, делает оконные рамы, ему приносят доски и заказывают сделать, сделать это, а он – лучший на Журавлевке плотник и столяр – выполняет заказы с раннего утра и до поздней ночи.

И еще аромат смолы: дедушка еще и лучший в округе сапожник. Он не только ремонтирует любую обувь, но и шьет на заказ, вон на полке два ряда деревянных колодок на все размеры и все типы ступней: с высоким, средним или низким подъемом.

То и дело надсадный рев, затем грохот, сотрясающий землю. Меня хватают в охапку и тащат в погреб, где отсиживаемся, пока грохот не прекратится. А когда вылезает, то обнаруживаем в саду срубленные осколками ветви, а в стенах флигеля, где живем, зияющие дранкой и расщепленным деревом пробоины.

Иногда, когда раздавался вой и слышались взрывы, дедушка говорит спокойно:

– Эти бомбы пойдут мимо.

И все остаются в комнате. Разрывы все громче, страшнее, грохочущее, а потом начинают отдаляться. Бабушка с облегчением вздыхает, крестится, а дедушка объясняет снисходительно,

что бомбы не вываливаются охапкой, а выпадают по одной, а раз самолет летит, то и они будут падать с промежутками, интервалами. И по прямой линии. Так что легко понять, где упадет следующая...

Бабушка снова крестится, вздыхает, она в таких делах не понимала и отказывалась понимать, вдруг вспомнила:

– Сегодня ночью Семенцовы задохнулись. Старого деда, говорят, еще откачают, а она с двумя детьми уже не проснется.

Дед покачал головой.

– Я всегда говорил, что слишком рано закрывает задвижку. Как-то зашел, а в доме уже угар... Спрашиваю, неужели не чуешь? А она кричит: да пусть лучше голова поболит малость, зато не замерзнем до смерти.

– Они совсем бедные, – сказала бабушка с жалостью.

– А вот под горой, – вспомнил дед, – Куреннихины, так сами натопили напоследок остатками дров, а потом дед закрыл заслонку да еще и проложил тряпицей, чтоб уж наверняка.

Бабушка ахнула:

– Это ж грешно!

– Видать, больше не мог...

– Бог терпел и нам велел!

– У Бога терпенье больше, раз немцев терпит.

– И что Куреннихины?

– Там дед сказал, что лучше сразу, чем видеть, как дети умирают... Их было семеро.

– Пятеро, – возразила бабушка. – Я знаю, мы в родне.

– Пятеро своих, – пояснил дед, – да еще двоих от помершего племяша взяли. Но прокормить нечем, вся родня и соседи и так пухнут с голоду.

– Да, мрет народ...

– А город, почитай, весь вымер. Здесь хоть прятаться есть где, а там пока до бомбоубежища добежишь... Да и топить им нечем. И воды нет.

У нас на Журавлевке существовал маленький рынок, называемый «базарчиком». Однажды там партизаны подстерегли и застрелили двух немецких солдат.

Немцы мгновенно оцепили весь район, вытолкали из домов всех, кого обнаружили из мужчин, пересчитали, выбрали из строя двадцать человек и объявили, что расстреляют их из расчета по десять русских за каждого немецкого солдата, если... партизаны не объявятся.

Партизаны, конечно же, не объявились, и всех двадцатерых расстреляли. Самое удивительное для жителей Журавлевки было в том, что в число двадцати попал и настоящий немец, что приехал в нашу страну восемь лет тому и работал здесь главным инженером на заводе.

Несмотря на его мольбы, офицер, руководивший расстрелом, ответил хоть и с сочувствием, но непреклонно:

– Закон есть закон. Мы не можем вас ни отпустить, ни заменить другим, потому что это будет... нечестно. Пусть эти русские видят, что немцами правит закон. И этот закон мы несем по всему миру.

После расстрела двадцати жителей ближайших к базару домов партизанская активность прекратилась полностью.

Почему-то я не терпел оставаться один дома. Чтоб не оставляли, шкодил в квартире, хватал кружку и разливал по комнате воду. А теперь, когда у нас щенок, он точно так же шкодит, настойчиво добивается, чтобы не оставляли одного. Наверное, тот же инстинкт?

Пол усыпан сухой шелухой от подсолнечника, аппетитно пахнет маслом. Дед смолит дратву, я помогаю, это умею: нужно вытягивать из клубка особо толстую такую нитку, что почти уже веревка, а не просто нитка, и, держа ее натянутой, водить по ней куском смолы, прижимая с силой, так что дратва постепенно врезается в эту черную блестящую глыбу, похожую на удивительный драгоценный камень. Если тереть в одном месте, то нитка прорежет пополам, как нож прорезает масло, но, конечно же, никто так не делает. Я тоже тру в разных местах, а дедушка следит, чтобы серая, как бечевка, дратва становилась черной и блестящей, просмоленной. В этом случае не размокнет, не перетрется и не лопнет, а башмаки, подшитые этой дратвой, будут носиться до тех пор, пока не сотрется подошва.

Центральное место в доме занимает, понятно, печка. И по размерам она едва ли не пятая часть, а то и четверть от всего пространства, сложенная умелыми печниками из красного кирпича. Сверху плита из чугуна на две или три конфорки, а сбоку одна или даже две духовки. В духовках пекут хлеб, пироги, куличи, пряники.

В торце две дверки: большая сверху и маленькая, поддувало, снизу. В большую закладываются дрова и нижнюю приоткрывают когда настужь, а когда чуть-чуть, чтобы «поддувало» снизу, тянуло воздух, тогда в верхней камере разгорится лучше. Но приходится регулировать, нельзя, чтобы прогорело чересчур быстро. Огонь должен быть именно таким, чтобы не выше и не ниже нужного.

Конечно, прежде чем положить дрова в топку, сперва нужно выгрести то, что осталось от вчерашнего, то есть подставить старое «угольное» ведро и выгребать из печи «жужалку», – спекшийся шлак, – поднимая тучи пепла и золы.

На улице за сараем этот шлак тщательно просеивают через крупноячеистое сито, отбирая несгоревшие частицы дерева и угля. Они снова пойдут на топку, это добавка к дровам, а полностью бесполезный шлак можно высыпать зимой на дорожку к колодцу.

Затем в освободившуюся и прочищенную топку закладываются дрова. Сперва самые мелкие и сухие лучиночки, кусочки бумаги, потом покрупнее, между ними оставляется пространство, чтобы проходил воздух, иначе не загорится, затем поленца потолще.

Поджигается первая лучинка, ждем, пока все разгорится, сверху кладем еще дрова, уже самые толстые, по мере того, как проседает сгорающая мелочь, и в завершение – сыплем уголь поверх этих толстых поленьев. Когда огонь дойдет до них, жар в печи будет уже достаточным, чтобы начал гореть и уголь. От угля уже настоящий жар, толстая чугунная плита начинает светиться сперва багровым, вишневым, а потом уже алым светом.

Как во всяком доме, возле печи – жара, а возле окон холод. Чтобы выглянуть на улицу, прикладываешь палец к покрытому ледяными узорами окну и ждешь, когда протает. Если же хочешь получить красивые ровные дырочки, то греешь на печи пятаки и прикладываешь их, так получаются ровные красивые «глазки».

К вечеру все взрослые внимательно следят, чтобы в печи прогорело, не оставалось ни единого дымящего комочка, слишком много соседей угорали, поспешив перекрыть заслонку. И вот когда в печи остается только ровный красный уголь, заслонку перекрывают, и все тепло отныне не улетучивается через трубу, а остается в печи, а значит, и в доме.

Еще позже на печи уже можно сидеть, но сперва, правда, подстелив под себя множество толстых тряпок, иначе не усидишь. Это такое блаженство, когда сидишь на тепле, свесив ноги, лузгаешь семечки, и все так хорошо, покойно!

По комнате скачет веселый козленок, подпрыгивает и бодает в подошвы, требует, чтобы я слез и поиграл с ними.

Не слезу, играть можно целый день, а на печке посидеть удастся только поздно вечером.

Дед часто уходит в села на заработки, мастер на все руки: и плотник, и столяр, и сапожник, и шорник, умеет печи класть и вообще может дом построить от «фундаменту» до трубы

на крыше. Однако и на селах везде бедно и голодно: немцы проходят волнами и всякий раз выгребают «масло-яйки», забивают кур и гусей, вообще всю домашнюю живность, вплоть до кроликов, уводят коров и коней.

По его возвращении в доме всегда пахнет давно забытым салом. На столе появляется тарелка, куда дед льет густое подсолнечное масло, бабушка сыплет соль – крупные серые кристаллики, похожие на льдинки, и мы начинаем есть лакомство, макая ломти черного хлеба.

Немцы ушли, две недели в городе безвластие, точно так же, как и при отступлении наших войск. Народ растаскивает все, что бросили немцы. Особым спросом пользуется мыло, многие бабы натаскали целые ящики, однако мыло оказалось каким-то странным, мылится совсем мало. Вернее, совсем не мылится. Знатоки объяснили, что это не мыло, а очень похожий на мыло тол, взрывчатка такая.

Нашим родственникам по линии бабушки, Евлаховым, несказанно повезло: удалось наткнуться на брошенные или забытые ящики консервов! Торопливо расхватали, с великими трудностями притащили из Старого города к себе на окраину, на Журавлевку, а вечером с торжеством открыли первую банку. Собралась вся семья с ложками, вилками. Открыли и... заорали дурными голосами. Бабы разбежались, зажимая рты, а Евлахов, мужественный человек, взял банку и, отворачивая голову, отнес к мусорной яме: лягушачьи лапки! Одни лягушачьи лапки – и больше ничего! Вспомнили, что в городе стояла итальянская дивизия, это все от них, проклятых лягушатников. Да лучше с голоду помереть, чем лягушек есть...

Традиционно выждав пару недель, опасаясь засады, в город вступила Красная Армия. Говорят, что это во второй раз. Первый раз вошли нищие и ободранные, одна винтовка на троих, пулеметы везли на коровах, а сейчас и вооружение намного лучше, и танки идут рядом. Дедушка сказал знающе, что на этот раз город уже не сдадут. Техника не хуже немецкой, а воевать наши научились.

Бабушка постоянно белит стены. Разводит толченый мел в ведре с водой, тщательно перемешивает, а потом макает в него широкую щетку и тут же, оставляя крупные капли на полу, мажет ею по стене. Новый слой мела покрывает старый, исчезают потертости, копоть, а также мои рисунки дедушкиным столярным карандашом. Я не помню, с двух или трех лет я научился рисовать, но мне кажется, что рисовал всегда.

Стены, по моему представлению, от частого беления все время сужаются, скоро станет тесно... Прислониться нельзя, выпачкаешься в мелу. Прежде чем выйти на улицу, каждый тщательно осматривает себя в зеркало со всех сторон: не задел ли где стену? Не прикоснулся ли? Все же можно было увидеть на улице человека, у которого то плечо в мелу, то локоть, то задница. И от мальчишек на улице не случайно постоянно слышится: дяденька, у вас вся спина сзади!

Подразумевалось как бы, что в мелу, и дяденька тут же начинал вертеться, пытаясь увидеть собственную спину, а когда обнаруживал, что спина чиста, ему невинно объясняли, что спина у него в самом деле сзади.

Бабушка обычно будила меня к завтраку, говорила наставительно:

– Проснулся? Доброе утро...

– Доброе утро, – отвечаю я.

– Нет, – поправляет она терпеливо. – Нужно отвечать «Утро доброе». Слова переставлять, понимаешь?

– Зачем?

Она некоторое время мажет стену щеткой, макая в ведро с разведенным мелом, не зная, что ответить на такой трудный вопрос, наконец повторила наставительно:

– Утром нужно говорить «Доброе утро», днем – «Добрый день», а вечером «Добрый вечер». Запомнил?

- Да, бабушка.
- Отвечать же надо, обязательно поворачивая слова в обратном порядке. А это запомнил?
- Ну, ага... а как это?
- «Утро доброе», «День добрый», «Вечер добрый». Понял? Запоминай. Если кто на «Добрый день» ответит тоже «Добрый день», то это неуважительно и даже оскорбительно, понял? Это значит, что ты не слушаешь того, кто с тобой поздоровался, не обращаешь внимания, а сказал что-то просто для того, чтобы звук издать...
- Хорошо, бабушка.
- Смотри, не путай, – сказала она строго. – Это вон даже жида знают! На «Шолом Алейхом» отвечают – «Алейхом шолом», а вон Абдулла говорит «Салям алейкум», а мы ему отвечаем «Алейкум салям»... Запомнил?
- Запомнил, бабушка...
- Не забывай. Со взрослыми нужно быть вежливым.

Огромный двор, заросший странным необычным лесом, что выше меня втрое-впятеро, и я пробираюсь между толстыми влажными стволами, устраиваю там шалашики, убежища, гнезда, как иногда устраивают куры или гуси, что не желают нестись в курятнике и делают себе тайные гнезда, где откладывают яйца и пытаются их высидеть.

Дедушка принес двух огромных удивительных зверей, их называли трусами, лишь через несколько лет я узнал, что их зовут еще и кролями. Потом завели кур, уток, гусей, купили козу, что принесла веселых игривых козлят.

Потом – мелких подвижных поросят, что очень быстро выростали в больших толстых свиней. Эти свиньи обычно лежат в сарае в холодке, но иногда гуляют по двору и роют норы, стараясь подрываться под сарай или под забор. А вот куры, гуси и утки свободно ходят на улицу. Я видел их только во дворе, это весь мой мир, лишь со временем я научился становиться на скамеечку и смотреть через забор на другой мир: огромный, пугающий, чужой, где ходят *другие*.

По улице ездят на скрипучих телегах, на подводах, подковы звонко цокают по булыжной мостовой, вылетают и быстро гаснут крохотные острые искорки. Когда лошадь останавливалась, возчик подвязывал ей к морде мешок с овсом, уходил, а она неспешно жевала, время от времени встряхивая головой, чтобы подбросить мешок и поймать в нем широкими мягкими губами зерна.

Иногда конский хвост поднимался горбиком, вываливались желтые тугие каштаны, некоторые разбивались о землю, другие расклевывали налетевшие воробьи, спеша добраться до еще теплых, непереваренных зернышек. На мостовой такие каштаны, расклеванные или нет, постепенно высыхали, рассыпались, проседали между неровно торчащими булыжниками, теряя цвет и сливаясь с серой землей.

Телеги двигаются по вымощенной неровной брусчаткой улице. Она тоже называется Журавлевкой, а от нашего дома уже – Дальней Журавлевкой, так что наш дом на этой улице первый, но под номером вторым, чего я долго не мог понять, пока бабушка не объяснила про четные и нечетные стороны.

Иногда по улице проезжает машина. Они делятся на легковые и грузовые. Легковые – это «эмки» и «победы», а грузовые – полуторки и «студебеккеры». «Студебеккеры» вскоре исчезли, а полуторки еще долго ездили по улице. Потом появились трехтонки, чудовищно огромные и сильные машины, на которых уже можно было перевозить до трех тонн груза.

Вечерами женщины собираются в комнате у бабушки. Кто прядет, кто штопает, но все таинственными голосами говорят о ведьмах, что перекидываются черными кошками и ходят доить чужих коров, о домовых, что начали шкодить уж чересчур, а это не к добру.

Нюра дрожащим голосом поведала про черного человека с вот такой головой, что среди ночи садится ей на грудь, ну прямо дохнуть низзя, и смотрит красными глазницами. А тетя Василиса рассказала, что вчера она наконец решилась спросить воющего в трубе домового: к добру или к худу?

– Ну и как, что ответил? – допытывались бабы, обмирая от сладкого ужаса.

– Я слышала, – ответила Василиса с тяжелым вздохом, – в трубе прогудело: «К ху-у-у-ду-у-у-у...»

На миг примолкли, потом бабы начали галдеть, что это еще не обязательно к беде, может быть, домовый просто требует внимания. Надо ему побольше молочка наливать, маслица капнуть, он и подберет, перестанет насыпать порчу.

Пользуются особым вниманием рассказы о женщинах, которые в отсутствие мужчин спят с собаками. Якобы жены офицеров. Такой-то, мол, начал удивляться, что его любимая овчарка стала кидаться на него, когда он полез к жене... А такой-то обнаружил у жены синяки вот тут и тут, где овчарка хватает женщину передними лапами, когда имеет.

Рассказывают всегда только про жен офицеров и про овчарок. Это и понятно: есть собаки, они разные, а есть – овчарки. Это огромные, страшные собакозвери, выведенные специально для охоты на людей.

Их вывели фашисты, чтобы охранять наших военнопленных в концлагерях, а когда Германию победили, наши офицеры привезли оттуда с награбленным имуществом еще и этих страшных собак.

Солдаты, конечно, вывезти могли совсем немного: только то, что помешалось в мешках, которые могли унести на себе. Пользовался успехом рассказ про одного солдата, что стал миллионером, так как догадался привезти из Германии целый ящик иголок.

Иголки, понятно, на вес золота, если не дороже: вся страна шьет, штопает, латает. Иголки – самый ценный товар, а в ящике их сотни тысяч.

Иногда, в праздники в наш флигель набивались соседи, пряли, сучили шерсть, вязали, рассказывали страшными голосами жуткие истории про убитых, зарезанных. На этот раз зашел разговор, почему ведьмы перекидываются именно черными кошками: тетя Нюра, наша соседка и родственница, доказывала, что все злое должно быть черным, ссылаясь на Библию, приводила цитаты.

Бабушка слушала с недоверием.

– Ну а как же куры?

– А что куры? – спросила Нюра.

– У меня во дворе и белые, и желтые, – сказала бабушка, – и даже чернушцы, а яйца все равно от всех белыя!.. Ты разберешь, от какой какие?

– То куры, – возражала тетя Нюра, – а вот ворон был белым, пока не научил Каина, как убить Авеля! Бог его проклял, теперь тот черный! Черный, как грех.

– Но куры в чем виноваты?

– Куры тоже в чем-то да провинились, – отрезала тетя Нюра строго. – Господь зря не наказывает! А так вина на детях до седьмого колена, а потом остается, как знак. Ну, как вон волчий билет Прохору. Ворон тоже семь поколений бедствовал, все птицы его клевали, били и гнали от себя, а теперь более сытой птицы, чем он, нет на свете!.. Но остался черным, чтобы все помнили: грех наказуем!

– Ага, как дети лишенца, – сказала тетя Валентина понимающе. – Внуки врага народа... Но сын за отца, как говорит товарищ Сталин, не отвечает. Так что и нынешние вороны живут хорошо, ничо не скажешь. Как вон явреи, коих Господь рассеял по свету за своего распятого сына, но теперь прижились так, что даже Гитлер не сумел их всех изжить со свету.

Дедушка Савка, это мой двоюродный дедушка, подумал, сказал осторожно:

– Да вроде бы товарищ Сталин взялся... Евреи, которых он послал создавать в Палестине государство, еще и оружия надавал для целой армии, таки подняли восстание против Англии и создали Новый Израиль. Он же туда отправил целую армию! Да только не захотели те евреи входить в СССР, как велел им товарищ Сталин. Решили, как и этот проклятый изменник Тито, будь он проклят, жить отдельно. Как будто можно быть коммунистами и жить отдельно! Вот за это товарищ Сталин и маленько осерчал на евреев. Низзя обманывать такого человека, низзя!

Мой дедушка задумался, почесал в затылке, сказал в затруднении:

– Да оно непонятно, к добру или к худу. Осерчал на одних, а выместит на других.

– Дык одно племя!

– Ну это да, они все один за другого. Так что можно бить и по невинowатому – отзовется и на виновном.

Я уже не боюсь выходить за калитку и подолгу играю с такими же, как и я, по возрасту прямо на улице. Сейчас ее назвали бы проезжей частью, но тогда не было разделения на тротуар и дорогу, разве что видна колея от проезжающих телег. Там и трава растет хуже. Мы там почти не играем: кузнечики там не прыгают, жуки забегают редко, а муравьи роют норки под широкими листьями лопухов и других трав, что растут на улице. Иногда сверху останавливается огромный взрослый, смотрит, как слон на кролика, спрашивает:

– Ты чей?

Я обычно поворачиваюсь и указываю на свой дом, а ребяташки постарше объясняли, чей я. Взрослый начинал бормотать что-то вроде: «Сын Никитиных, внук Репиных и Носовых... это же двоюродный Евлаховым... внучатый племянник Ратнику... Улицкие – тоже их род... ага, значит, он мне родня по линии дедушки Ромоданских...»

И, ласково коснувшись моей головы, шел дальше. В конце концов я уже научился ориентироваться в своей ближайшей родословной, отвечал быстро и четко. Постепенно я понял, что на Журавлевке я довожусь родственником абсолютно всем, и даже «за рекой» и «под горой» половина нашей родни, там селятся убежавшие из наших Русских Тишков.

Целые села переселялись «в город», так это называлось, хотя селились на не занятых землях вблизи города, ставили такие же домики, спешно раскапывали землю для садов и огородов. Одно село, Русские Тишки, состояло из Носовых, а другое, Черкасские Тишки, – из Репиных. И те и другие невест старались брать друг у друга, как бы взаимно ослабляя соперника, а когда пришла беда раскулачивания, из обоих потянулись в город сперва раскулаченные, а потом вслед за ними – на индустриализацию.

Всю Журавлевку, огромный пригород Харькова, составило население двух сел, и все они в той или иной мере – мои родственники. Конечно, существуют еще и Тюринка, Рашкино, Алексеевка и другие пригороды, там *другие*, там *не наши*, а здесь свой мир, только наш род.

И снова, копаясь на улице в песочке или пуская в ручье кораблики, время от времени слышал над головой:

– Эй, строитель, а ты какого роду-племени?

Это потом я соображу, что застал еще деление на роды и племена, как было у полян, древлян, дряговичей, уличей и прочих древних славян. А также у всех древних племен, будь это в Ассирии, Месопотамии или Халдее. Взрослые всякий раз придирчиво расспрашивали, чей я, затем долго устанавливали мои родственные связи, тянули нити, выясняя, что я довожусь такому-то троюродным племянником, такому-то тем-то, а с родом Евлахова я кровник через такого-то, что ниже родства с тюринцами, но выше родства с рашкинцами...

И так всякий раз незнакомыми уточнялось, кто принадлежит к какому роду. И лишь после этого начинались взаимоотношения, построенные на иерархии.

На улице столпились мальчишки, это Вовка вынес на блюдце большую каплю живого серебра. От тяжести это уже не шарик, расплющилось по доньшку, переливается, странное и загадочное, перекачивается от одного края к другому. К Вовке тянутся наши ладошки, он гордо и по-царски наделил всех, себе оставил самую малость, завтра отец еще принесет...

Потом и мой дедушка начал приносить в бутылочке живое серебро, я часами играл с ним, катая по ладошке, не переставая изумляться странному живому металлу, жидкому, как вода, но такому непривычно тяжелому, даже более тяжелому, чем если бы я держал на ладони такой же кусочек железа или чугуна.

Блестящий таинственный шарик живого серебра бегают очень живо, всегда стремится найти место пониже, сопротивляется, когда его выталкиваешь, пытается протиснуться между пальцев, их надо держать крепко, ибо если упадет на пол, то разобьется на сотни крохотных блестящих бусинок, и тогда долго придется ползать на коленках, собирая на краешек листочка.

Когда две бусинки встречаются, мгновенно сливаются одна с другой, сразу превращаясь в шарик побольше. Я заметил, что этим шарикам самим хочется слиться, проверил несколько раз: ставил два на ровном месте, потом начинал осторожно придвигать один к другому. И вот когда между ними еще остается пространство, оба вдруг сдвигались с мест, соприкасались боками, и тут же мгновенно на их месте возникал шар вдвое больше, начинал блестеть счастливо и радостно, словно мать подхватывала на руки ребенка!

Уже и другие родители приносили с заводов и фабрик ртуть, так правильно называлось живое серебро, мы подолгу играли с ним, сливая в такие большие капли, что они уже по форме не капли, а больше похожи на налитое в тарелку густое масло.

Дед с силой колотит кремнем по огниву. Я выждал когда искорка покрупнее упадет в мох, бросился на четвереньки у печи и принялся дуть в нее, стараясь чтобы стала крупнее за счет нежных стебельков сухого мха. С третьей искорки удалось раздуть крохотный огонек, дальше осторожно сунул ему тончайший краешек, почти прозрачный кусочек бересты, больше похожий на шкурку, что слезает с кожи, когда обгоришь на солнце.

Дед крикнул с удовлетворением:

– Надежно... Это не спички, которые еще купить надо!

Я смотрел, как он укладывает все в кисет, завязывает толстым шнурком, тонкий трудно развязывать. Кисет висит на широком кожаном поясе, слегка оттягивает ремень.

Но мне больше нравились спички. Эти тонкие полоски дерева обернуты в бумажку, один край намазан коричневой массой. Чтобы зажечь, нужно отломить от полоски лучинку и чиркнуть намазанным местом по этой же бумажке.

Позже появились настоящие коробочки с уже нарезанными и уложенными лучинками. Оставалось только вынуть из ящичка крохотную палочку и чиркнуть ею по такой же коричневой полоске на боку коробочки. Так намного удобнее, и хотя такие коробочки стоят намного дороже, их покупали охотнее.

На все двери, ставни, окна и даже форточки ставят крючки. Потом им на смену придут задвижки, такие маленькие засовы, но раньше были только крючки. На косяк прибывалась петелька, чтобы дверной крючок острым клювиком попадал в выемку, так запирались все двери. Когда крючок «откинут», он свободно висит вдоль двери.

В продаже крючки самые разные: от простых, из толстой проволоки, просто-напросто длинный гвоздь с колечком на одном конце и загнутым краем на другом, и до роскошных, отлитых в художественных мастерских, где на металле выпуклые сцены сражений древних воинов, сцен охоты или каких-то древних богов и богинь в непонятных ритуалах.

Много крючков с надписями на старом языке, там какие-то буквы, которых теперь нет, есть крючки с выпуклыми коронами разных видов, с гербами, начиная от привычных двугла-

вых орлов и заканчивая странными изображениями щитов с выдавленными на них диковинными зверями.

Дед Савка чинит конскую сбрую, я посматриваю на его могучие руки, игла в его руках, как маленький кинжал, простой иглой и не проткнешь толстую кожу.

Дедушка иногда вытаскивает из нагрудного кармана на металлической цепочке массивный выпуклый диск, нажимает рычажок, слышится щелчок, крышка откидывается. Я зачарованно смотрю в открывающийся волшебный мир: часы такие же, как наши ходики, только все внутренности упрятаны в эту коробочку, а взгляду открывается только сам циферблат с двумя стрелками: большой и маленькой.

Подумать только, каким надо обладать мастерством, чтобы часы, настоящие часы суметь упрятать в такую маленькую штуку!

Во всех учреждениях плевательницы: белые, круглые, фарфоровые, с отверстиями в середине. Стоят по углам, на перекрестках коридоров, а иногда и вдоль стен. Какие-то прямо на полу, некоторые – на подставках, тумбочках, даже на специальных решетках из толстых железных прутьев.

Люди, разговаривая, подходят к плевательницам, плюют, стараясь попасть. Для этого останавливаются прямо над плевательницей, выпускают слюну, чтобы та под действием гравитации падала точно в отверстие.

Как-то пошли мы с дедушкой, меня не с кем было оставить дома, в какое-то учреждение. Сперва шли по длинному коридору, где красиво белеют веселые плевательницы, вычищенные до блеска, сияющие, а потом перешли в другую половину здания, где и стены серые, и плевательницы темные, засиженные мухами, с комьями засохшей слизи. И стоят так редко, что всякий предпочитал плюнуть на пол или в пустой угол, чем искать плевательницу, из которой вылетит в ответ на плевок рой зеленых злобных мух.

Пока я рассматривал плакаты «Враг подслушивает!» на стенах, дедушка подошел к плевательнице, остановился над нею, растопырившись, даже наклонился, чтобы не промахнуться, долго жевал, собирая и соскребывая слизь не только с горла, но и с нёба, языка, смачно харкнул. Тяжелый комок звучно шлепнулся о самый край, серо-зеленый, медленно пополз по блестящей белоснежной поверхности к темному отверстию.

Он поморщился.

– Раньше попадал точно в середину с трех шагов... То ли стали делать их поменьше, то ли я стал...

Один из мужчин, что сидел и ждал очереди, кивнул, посочувствовал:

– Меньше стали делать, меньше.

– Зачем?

– Не знаю. И вообще их меньше стало.

Дед огляделся, покачал головой.

– В самом деле. То стояли через каждые два шага, а теперь...

Часы-ходики мерно тикают, гиря на цепочке медленно опускается к полу. Я уже научился, что, когда гиря опускается очень низко, нужно одной рукой приподнимать гирю, а другой потянуть за цепочку. Там в жестяном ящичке часов повернется колесико, и часы снова «заведены».

Однажды, когда часы все-таки остановились, а дома никого не было, я придвинул табурет, на него поставил табуреточку, взобрался и, сняв жестяной кожух, долго всматривался в зубчатые колесики, трогал цепочку с гирей, старался представить, как она тянет, как поворачи-

чивается колесико, на зубья которого, оказывается, надевается цепочка и заставляет его поворачиваться...

...как колесико цепляется зубчиками за другое и поворачивает, а то крутит стержень, на конце которого две стрелки: часовая и минутная. Так вот почему двигаются по кругу!

К приходу родителей ходики снова работали. Я долго крепился, но не вытерпел, рассказал, как я заглянул вовнутрь, разобрался и все починил.

Бабушка не поверила, для нее устройство даже таких часов – верх сложности, дед в задумчивости погладил меня по голове.

– Все понял?

– Все, дедушка. Сам могу сделать такие часы... но из песка не получится.

Он засмеялся.

– Не всегда будешь рыться в песочке. Не всегда!

Бабушка периодически стол не только моет, но и скоблит ножом. Столешница становится белая, чистая, снова пахнущая стружками, деревом. Но мыть стол – занятие трудное, в щели всегда набиваются крошки, потому стол обычно накрывали скатертью. Так и наряднее, а чтобы скатерть меньше пачкалась, ее сверху накрывали еще и красивыми цветными клеенками. Ну, а чтобы клеенку меньше пачкать, сверху стол застилали газетами.

Это так просто и удобно: мокрую грязную газету собираешь в ком вместе с объедками и выбрасываешь.

А по клеенке просто проходишься мокрой тряпочкой.

Скатерть тоже видно: ее края выглядывают из-под свисающей чуть ли не до полу клеенки.

Вечером дедушка принес желтоватые ровные поленца, пахнущие так, что я безошибочно понял: сейчас будем щипать лучину, это так интересно. Это непросто, зато какие тонкие ровные получаются палочки! Их связывают в пучки, которые бабушка держит в правом уголке мисника, сейчас бы назвали полками для посуды, но из посуды тогда были только оловянные и алюминиевые миски, из мисок едят все, и потому эти посудные полки называются только мисниками, никак иначе.

Мне нравилось смотреть, как горит лучина, это даже интереснее, чем керосиновая лампа, хотя не так интересно, как свеча, у свечи все больше и больше причудливых наплывов, пока наконец это уже и не свеча, а расплывающееся в блюде озеро, в середине которого догорает кончик нитки, называемой суровой.

При свете лучины рассказывают обычно о ведьмах, домовых, вылезающих из могил мертвецах, упырях, вурдалаках, песиглавцах и чугастырях. Дед иногда рассказывал, что сейчас наступил совсем-совсем другой мир, что сейчас жить очень хорошо, что сейчас нравы иные, а вот раньше...

И бабушка вступала в разговор, вспоминали детство, когда не было таких лет, даже дней, чтобы в их селах вдоволь ели. В семьях рождалось по пятнадцать-двадцать детей, выживали от силы пятеро, да и те редко дотягивали до возраста, когда начинают плодиться.

На стариков дети всегда смотрели как на обузу, постоянно спрашивали, когда же умрут, освободят место в тесной хате. А зимой самых старых сажали на санки, отвозили в лес и там оставляли. Так было принято.

– Но они же... замерзнут! – вскрикивал я.

– Да, – отвечал дед. – Конечно, замерзнут.

– Но разве так можно?

– Замерзнуть – легкая смерть, – объяснил он. – Становится тепло-тепло, так и засыпает... Люди замерзают с улыбкой.

А бабушка поясняла:

– Когда хлеб заканчивается, а до нового урожая еще далеко, то либо всей семье умереть от голода, либо кому-то.

– А если есть понемногу? – спрашивал я шепотом.

– Все и так ели понемногу, – говорила бабушка с застарелой грустью. – Весной люди в деревнях – кожа да кости. Выходят и шатаются. Первую травку грызут окровавленными деснами, зубы-то от бескормицы выпадают... Так что, когда хлеб кончается, приходится выбирать, кому умереть: старикам или детям.

Я спрашивал, задерживая дыхание:

– А старики... соглашались?

– Они все понимали, – ответил за бабушку дед. – Сами просили отвезти себя в лес пораньше, чтобы хлеба осталось больше. Я же говорю, сейчас совсем-совсем другой мир! Стариков перестали отвозить в лес на смерть... это же, это же никогда такого не было! Всегда отвозили. А теперь вот не отвозят. Вообще.

– Хлеба хватает, – вставила бабушка.

– Хлеба хватает, – согласился дедушка. – Да и вообще... Сейчас, даже если не хватит, даже не знаю, вспомнят ли, что так надо. Испокон веков так делали, а сейчас вот перестали. Меняется мир, меняется... Такого еще не было. Все века стариков отвозили в лес, а сейчас перестали...

– Перестали, – подхватывала бабушка, как эхо, – перестали! Это же надо, перестали...

На реке можно нарезать лед крупными глыбами, погрузить на телегу и привезти домой, в подвал. Там лед укладывают как можно плотнее глыба к глыбе, посыпают сверху опилками, это не дает льду растаять. Во всяком случае, под опилками лед тает очень медленно, я сам видел тонкие льдинки еще в мае, а то и в июне.

Такие вот подвалы со льдом называются «холодильники».

Дедушка бреется бритвой завода «Zinger». Она у него еще со времен первой мировой войны. Прекрасная бритва, говорит дедушка, только вот лезвие уже сточилось почти наполовину.

Сперва он бережно острит ее на точильном камне, который из-за гладкости кажется просто куском мыла, а потом правит на длинном широком ремне, прицепленном одним концом к косяку двери.

Еще у него чашечка и лохматая щеточка для взбивания пены, которой обильно покрывает лицо. И вообще у всех мужчин широкие ремни, на которых правят бритвы.

Это основное, для чего существуют ремни.

Дедушка рассматривает письмо с фронта и говорит с удивлением:

– Смотри на штемпель...

Бабушка всмотрелась, ахнула, отодвинулась.

– Господи, что же это?

– Да вот, похоже, перемены...

– Но как же можно?

Дед снова подумал, посмотрел в потолок.

– Наверное, сейчас самое время. Мы наступаем, уже в Германии. Самое время слово «боец» заменить на слово «солдат».

Бабушка перекрестилась, глаза испуганные.

– Теперь что же... Наши в армии будут зваться солдатами?

Дед кивнул.

– Да. Видишь, «Солдатское письмо». Приучают, что они хоть и бойцы, но уже и солдаты. Потом я слышал спросонья, что обсуждали новую форму для командиров. Теперь их будут называть офицерами, они снова будут золотопогонниками, снова вернуться к старым званиям: капитан, полковник, генерал...

Мне уже доверено закрывать окна. Сперва выходишь на улицу, чтобы сделать самое главное: закрыть ставни. Тяжелые, дубовые. Наши ставни выкрашены в темно-зеленый цвет, от которого веет войной, защитной формой бойцов, в то время как почти у всех на улице они коричневые: наш сосед купил дешево бидон краски и поделился с нами.

Вот ставни плотно сомкнулись, я накладываю крест-накрест железные следи, закрепляю. Между толстыми досками остается едва заметная щелочка. Мой дедушка, искусный столяр, сумел бы подогнать так, что между ставнями не протиснулся бы и волосок, но с улицы в такую щель ничего не увидишь, как и не пролезешь, а из дома в такую щель, приложившись глазом, можно рассмотреть многое, если не все-все.

Вернувшись в дом, я набрасываю с правой ставни на левую крючок, там толстая петля, потом затворяю створки окон, и теперь наш дом надежно отгорожен от улицы.

На ночь дверь обычно еще и подпирали поленом, для этого на деревянном полу в каждом доме прибивается такая железная пластинка с бортиком, чтобы одним концом полено упиралось в дверную ручку, а другим – в этот бортик.

В домах, где пол земляной, в земле просто ямка, в которую упирается такой вот добавочный запор. Так вот ставнями закрывали испокон веков, как говорит дедушка, это надежно, проверено. Раньше стреляли из луков, так вот такие ставни никакая стрела не прошибет, можно отсиживаться, даже отбиваться. Каждый дом превращается в маленькую крепость.

Я по ночам, засыпая, представлял конных всадников в лохматых шапках, что несутся по улице с визгом, спешат увидеть дом без ставень, чтобы ворваться, убить всех или забрать в полон, разграбить, унести «добро»...

Сегодня закат был просто диким, сумасшедшим. Красным залило полнеба, а багровое солнце распухло немислимо, от него пошел алый пар, небо пылает, по небосводу сползают реки тягучего горящего клея.

Как только в комнате начало темнеть, я долил масла, поджег спичкой фитиль и тут же осторожно накрыл стеклянным колпаком. Тяга усилилась, желтый огонек с готовностью вытянулся вверх. По ободу стал красным, затем перешел в багровый, а с кончика начали срываться черные крупинки копоти. Я чуть-чуть повернул колесико, уменьшая пламя, вспомнил, что дедушка говорил, надо чуть подрезать фитиль, тогда копоти будет меньше.

На низком потолке уже темнеет все расширяющееся пятно, словно оттуда смотрит беззвездная ночь. Ничего, завтра бабушка снова побелит, она очень любит белить.

Яркое солнце, ласковый ветер, птицы весело щебечут, радуются, как говорят взрослые, окончанию войны. Мальчишки запускают бумажного змея с длинным хвостом из тряпочек. Не все умеют их мастерить, здесь надо чувствовать, как и что. Кроме планочек и умело наклеенной бумаги, необходимо еще очень точно подобрать длину хвоста, сбалансировать, чтобы тяга была ровной, чтобы змей не рыскал из стороны в сторону.

Отец мой ушел на фронт в первые дни войны и уже не вернулся. Последнее сообщение было из-под Берлина, где он, тяжело раненный, попал в госпиталь. Но я его не помню, в моей жизни только мама и бабушка с дедушкой. Недавно они присмотрели на соседней улице угловой домик, что выходит прямо на перекресток, там сходятся пять улиц. Место прекрасное, земельный участок очень большой. Домик ветхий, под соломенной крышей, дедушка спросил меня, похлопывая по плечу:

– Помогать будешь?.. Мы сможем снести этот курятник, а на его месте построим просторный дом!

– Еще бы! – ответил я с азартом. – Конечно.

– Тогда беремся, – решил дед. – Но смотри, работы будет много.

– Дедушка, мы сможем!

После купли избушки разметать ее было делом пары часов, а затем заново рыли яму под фундамент, покупали кирпич и укладывали на дно, скрепляли цементом. А затем возвели стены из отесанных бревен, я обил их крест-накрест дранкой, чтобы глина держалась, потом врезали окна, сами застеклили, и к концу лета дом был готов. Изнутри и снаружи бабушка побелила раствором мела, но снаружи после каждого дождя приходилось белить заново, так что еще два года собирали деньги на кирпич, и в конце концов обложили весь дом. Он так и назывался «обложенный» в отличие от возведенных из кирпича. Такие дома, «обложенные», считаются надежнее и теплее, чем со стенками только из кирпича.

Особенно впечатляла крыша: дедушка сумел выписать с завода металлическую черепицу. Это было невиданно, так как вся остальная Журавлевка цветет золотыми соломенными крышами. Ничего не изменилось со времен полян, улочек, хеттов, ассирийцев и всех, кто выращивал пшеницу, а вот у нас другой век: крыша из настоящей жести! С горы, где располагается старый город, вся Журавленка выглядит как огромная желтая поляна с распутившимися одуванчиками, и только наша крыша блестит металлом. Сверху в солнечный день наш дом кажется упавшим на землю осколком солнца.

Двором начали заниматься на следующее лето: раньше здесь был сплошной бурьян высотой в человеческий рост. Рыли ямы, засыпали туда привезенный чернозем, сажали яблони, груши, сливы, вишни. Вдоль того места, где должен быть забор, засадили малиной. А забор поставили еще через два года, когда накопили денег на доски.

Крышу пришлось покрасить: начала ржаветь, увы. Но дом прекрасен: большой и просторный, и сделали мы его с дедушкой вдвоем, сосед приходил только помочь поднять тяжелую поперечную балку на крышу.

В Харькове евреев много, настолько много, что на всех, как говорят на улице, просто не хватает мест у кормушки, где с портфелями и в шляпах. Многие вынуждены работать мастеровыми, так что у нас на Журавлевке евреи точно так же, как и мы, пасут коз, ходят с ведрами на коромысле к колодцу, сажают в огородах картошку, доят коров.

Еще на Журавлевке появились цыгане, купили два дома, но набилось туда их столько, что кажется, треть Журавлевки – цыгане.

Первые фильмы смотрим во дворе здешнего киномеханика: он вешает на стену старую простыню, выносит треногу со стрекочущим проектором, где нужно постоянно крутить ручку, и мы, рассевшись кто на бревнах, кто прямо на земле, смотрим, затаив дыхание, настоящее кино.

Потом, когда начала налаживаться послевоенная жизнь, один бесхозный каменный сарай разделили между пожарным депо и кинозалом. Кинозал гордо называли кинотеатром «23-го августа», это день освобождения Харькова от немцев, там помещается сто человек на сдвинутых скамейках.

Конечно, все фильмы идут по частям. После каждой части киномеханики меняют катушки, это занимает минут пятнадцать-двадцать, потом то ли из-за сноровки, то ли улучшенной техники, но начали укладываться в десять минут, и фильм продолжался дальше.

Прошло несколько лет, прежде чем научились ставить катушки с лентами на два кинопроектора, синхронизировать их работу так, что зрители почти не замечали, когда одна лента заканчивалась и проектор выключился, а его работу подхватил второй.

Хорошо помню, как ходил смотреть знаменитый фильм «Путевка в жизнь». До этого по большей части фильмы немые, с подписями, как сейчас говорят, с титрами. А в «Путевке в жизнь» все разговаривают, даже поют. Там о том, как эки перевоспитываются, прокладывая железную дорогу. Вся страна потом распевала за одним из героев, бывшим эком: «Мустафа дорогу строил, Мустафа по ней идет!..» Правда, Мустафу убил подлый кулак, вздумавший устроить крушение первому поезду, но умирающий Мустафа из последних сил предотвратил крушение и тем самым заслужил в наших глазах право если не на помилование, то на реабилитацию.

Еще через несколько лет на экраны вышел первый цветной фильм «Падение Берлина». Все бабы с восторгом пересказывали друг другу эпизод, где офицер полез за пазуху подстреленного друга и вытащил оттуда красный от крови платок!

И еще хороша была сцена, когда товарищ Сталин сходит с трапа самолета в побежденном Берлине и мудро отдает приказы по его восстановлению, где будет счастливо жить немецкий народ, освобожденный от фашизма.

Правда, остальные фильмы по-прежнему идут черно-белые, еще много лет цветных не было. Они, как объясняли знающие, слишком дорогие, там особая пленка, сложнейший процесс обработки, хранить их невозможно, через год выцветают, все копии приходится на помойку, а вот черно-белые чуть ли не вечные.

Фильмы в нашем крохотном кинотеатре, как и по всей стране, идут в основном «трофейные», то есть захваченные нашими войсками в гитлеровской Германии. Наибольшим успехом пользуются «Тарзан» и «Индийская гробница», хотя уже тогда понимали, что первый – американский, а американцы вроде бы союзники, хоть и очень не спешили с открытием второго фронта, а вот «Индийская гробница» действительно трофейный, так как немецкий.

Впрочем, если этот фильм американцы продали в фашистскую Германию и те их крутили в своих кинотеатрах, то это уже немецкое имущество, и потому мы имеем право все это выгрести в отплату за то, что немцы все здесь спалили, взорвали и разрушили.

Из Германии непрерывным потоком идут эшелоны с немецкими станками: токарными, фрезеровальными, вообще вывозят оборудование целыми заводами. Когда я впоследствии пошел работать слесарем на завод ХЭЛЗ, то обнаружил, что только стены завода наши, а внутри все трофейное: от станков до последних гвоздиков.

На квартирах тогда жили, снимая угол, то есть по четыре человека в комнате. Снимать комнату было непозволительной роскошью, а чтобы снимать квартиру целиком – о таком даже не слыхивали.

Утро начинается с бравурной музыки и бодрых сообщений о новых способах закалки стали, о новой плотине, об открытии нового сорта яблок, о подвиге летчиков, сумевших без посадки с такого-то места и до такого-то. В Африке вчера открыли новый народ... ну, это неинтересно, в Африке, которую только-только начали исследовать, каждый месяц открывают по народу и каждую неделю находят новое племя.

Вся Африка на карте поделена ровными линиями на разноцветные квадраты и прямоугольники. Так обозначены колонии. Больше всего зеленого цвета: как и вообще по земному шару – зеленым закрашена Англия, а также ей принадлежат колонии: Индия, Новая Зеландия, Канада, Непал, весь Ближний Восток с множеством арабских стран и еще много-много земель и масса островов во всех океанах. Это все владения Англии – владычицы морей. Правда, Индию вот сейчас перевели из колонии в доминион, но это все равно колония, а вице-короля ей назначают из Англии. Совсем недавно зеленым была закрашена и та часть, где теперь США, они раньше были колонией Англии, но там взбунтовались против тяжелых налогов, подняли вос-

стание и после долгой войны добились независимости. Сейчас против английских империалистов и проклятых колонизаторов воюют Афганистан и Палестина, добиваясь независимости.

Воспитание воли. Сейчас это забыто. Но тогда вся страна воспитывала в себе волю. Самым лучшим качеством у человека считалась воля, а лучшие люди – волевые.

С самого раннего детства ребенок должен был воспитывать в себе волю. Начинать с самого простого: отказа от любимой конфеты, и до приказа себе делать скучное или вовсе неприятное, но очень нужное дело. Обычно – нужное стране и товарищу Сталину.

Все киногерои – только волевые люди. Волевой человек – это все. И в характеристике на любого этот пункт присутствовал обязательно.

Сейчас вот, к примеру, в то время, когда пишу эти строки, еще сохранился такой архаизм, как «безвольный человек», но что такое волевой – уже не знают. Как все знают, что такое «нелепо», а вот слово «лепо» уже ушло, ушло...

Почему-то слова с положительным значением исчезают быстрые, а вот негативные накапливаются. Или языковой состав, как зеркало, лишь отражает то, что происходит в жизни?

По вечерам бабушка зажигает каганец. В комнате сразу становится светлее. Оранжевый огонек трепещет от каждого движения воздуха, потому возле него нельзя делать резких движений – погаснет.

По стенам начинают двигаться огромные страшные тени: угольно-черные, угрожающие, резко изламывающиеся на стыках стен, прыгающие резко с одной на другую.

Каганец, где прячется огонек, постоянно привлекает мое внимание. Оказывается, на землях, где мы теперь, существовали какие-то загадочные каганы. У них были эти светильники. Потом наши князья каганов победили, извели начисто, только и осталось от них, что вот эти каганцы, светильники.

Соседская девочка допытывается у меня, хазэр я или не хазэр. Дед объяснил мне, что здесь когда-то обитало такое племя, это у них были каганы, правители. Каганов перебили, а народ зачем перебивать, народ землю обихаживает, народ нужно стричь и шкуры с него драть, а не убивать. После той войны, когда перебили хазэров, победители и победившие одинаково пахали, сеяли, строили. Приходили другие победители, объявляли, что отныне шкуры будут драть только они, и тоже драли точно так же, так что теперь уже и непонятно, кто хазэр, а кто печенег, половец или черкас. Только черкасы все еще говорят на малороссийском наречии, а все остальные, хазэры или не хазэры, уже на русском.

Только и остались у нас вокруг Журавлевки села Печенеги, Большие Печенеги, Печенга, Куманы, а также Печенежская горка, Печенежское урочище, ярк Печенегов, Куманская балка... а сами куманы и печенеги уже теперь русские. Или украинцы, какая разница?

Только от половцев остались только куманцы да слово «кум», а названия речек, горок и оврагов уже были заняты ранее исчезнувшими печенегами.

Ну а мы, как сказал дедушка, похоже, тоже печенеги. Только говорим уже по-русски. Хотя, может быть, и хазэры, кто теперь знает?

Осваиваю сложнейшую конструкцию навороченного светильника: лампу со стеклянным колпаком. Лампа, естественно, управляется маслом, это тот же светильник, которым пользовались каганы в своем хазарском каганате, но фитиль свернут в трубочку, поворотом ключика можно выдвигать из щелочки и убирать, а сверху все это накрыто стеклянной трубкой с зауживающимся концом наверху.

Трубка служит для того, чтобы случайно не задуть огонек, ведь лампа стоит обычно посреди стола. Сняв стеклянный колпак, я уже умею ловко подрезать сторевшую часть фитиля, в этом случае лампа сразу вспыхивает вдвое ярче. Еще я выкручивал фитиль до отказа, и тогда

пламя полыхает так, что стекло могло треснуть от жара, но можно фитиль поворотом ключа втянуть вниз в жестянку, и тогда огонек едва-едва горит...

Каганы умерли бы от зависти, видя такое техническое достижение!

Со свечей надо снимать нагар, в плошки вовремя добавлять масло, но самое сложное – вот эта лампа: и масло подливать, и фитиль подкручивать не слишком, даже не из-за экономии масла или фитиля, хотя надо экономить то и другое, сгорает очень быстро, но стекло быстро коптится, может раскалиться так, что лопнет. В любом случае надо стеклянный колпак снимать и чистить, а без него тоже никак: вытянутая кверху труба не только укрывает пламя, чтобы не металось при каждом движении по комнате, но и создает дополнительную тягу.

Раньше чисткой занималась бабушка, но теперь, когда я научился ухаживать за лампой, эту важную работу доверили мне.

Летом мухи роятся такими массами, что в комнате вечные сумерки. Они облепляют стены, потолки, носятся в воздухе такими тучами, что по комнате приходится ходить размахивая руками, прищурившись и плотно стиснув губы. Мухи стукаются в лоб, щеки, попадают в рот, стараются залезть под веки и отложить там яйца.

Эти же мухи заполняют двор, роятся в коридоре, а в комнатах их висят целые тучи в воздухе. Кроме того, облепляют стены так густо, что белые стены выглядят серыми. По комнате нельзя пройти, не столкнувшись с двумя-тремя десятками.

Единственная электрическая лампочка постоянно облеплена мухами. Когда включаешь свет, лампочка сперва светит совсем слабо, но, когда разогревается, мухи покидают горячее стекло, оставляя на нем темные пятнышки.

Время от времени бабушка объявляла, что будем выгонять мух. Мы все: бабушка, дедушка, мама и я берем в руки полотенца и тряпки, становимся в ряд у стены и начинаем размахивать, сгоняя мух со стен. Двери во двор, конечно, распахнуты настежь. Мухи поднимаются, мечутся, выискивая тихое место, и вынужденно устремляются в сторону от тряпок.

Мы надвигались, размахивая как можно быстрее, бабушка властно покрикивала:

– Феня, у тебя щель у стены!.. Не давайте прорываться внизу!.. Чаше машите, чаше!

– Справа прорвутся!..

– Не спешите, не спешите!.. Все вместе, вместе!...

Мы теснили мух, оставляя за собой очищенное пространство. Они поневоле вылетали в раскрытые двери, а мы, усиленно работая тряпками, как самолеты пропеллерами, добирались до порога, и тут обнаруживалось, что множество мух сумели остаться в комнате, спрятавшись за комодом, за кроватью, за горшками с цветами.

Поспешно возвращаемся и, размахивая полотенцами и тряпками, поднимаем их в воздух и тесним тоже к распахнутой настежь двери. Как только все оказывались на пороге, усиленно размахивая тряпками, бабушка, глава нашей семьи, захлопывала дверь.

– Фух, – говорила она с удовлетворением. – Как хорошо без них!..

– Хорошо, – соглашалась мама.

Она всегда работала по две смены, работала в выходные, так что я видел ее даже реже, чем горластых соседок, которые ухитрились прожить и в такое нелегкое время, ни разу не появившись ни на заводе, ни на фабрике.

Конечно, в комнате оставалось десятка два этих крылатых тварей, но уж не сотни, когда ходишь по комнатам, раздвигая тучи мух, как темные и грязные занавеси.

Для борьбы с мухами придумывали всевозможные мухобойки: от простых палок с прибитой на конце резиновой подошвой до изящных и красивых с резной ручкой из слоновой кости, украшенной затейливой резьбой.

От ударов мухобойками остаются кровавые пятна на стенах, и в конце концов все стены становятся пестрыми, белить приходится очень часто. Я придумал другой способ избавления

от этих тварей: брал длинную иглу и очень медленно приближал острие к сидящей мухе. Обнаружил на опыте, что муха не замечает, когда к ней приближаешься очень медленно. Острие почти касается ее спины, а муха все еще сидит, чешет лапками брюшко или спину. Тогда делаешь легкий выпад, и муха наколота на острие!

С торжеством я бегом отношу своим родненьким муравьям во двор. Те хватают добычу, добивают и ликующе тащат в норку. Иногда я даю им мух прямо в комнате, они выходят из щелочек в стене на подоконник и бегают там в поисках чего-нибудь съедобного.

Конечно же, я кладу им несколько крупинок сахара, муравьи радостно волокут к щелям, но это не еда, а лакомство, еще муравьишки очень любят рыбу, потому я для них отщепляю самые тоненькие волоконца. Если муравьи не затаскивают сразу же, волоконца высыхают через несколько минут, становятся ломкими. Такие, сушеные, муравьи утаскивают тоже очень охотно.

Дорога к школе проходит мимо церкви, высокой, красивой, двуглавой. Она возвышается посреди просторного зеленого поля, огороженного высоким решетчатым забором. И если через другие заборы мы лазили не просто охотно, но и как бы по обязанности: любой забор – вызов, то через этот остерегались. Нечто мрачное по ту сторону, недоброе, темное, связанное с покойниками, духами, привидениями, потусторонней жизнью.

Время от времени на колокольне звонят, в церкви часто организовываются крестные ходы, собирается народ на церковные праздники. Некоторые запоминаются особенно ярко: к примеру, пасха, Рождество или Крещение, когда в морозы изо льда ближайшей реки вырубают огромные куски, обтесывают в исполинские квадраты и на санях доставляют в церковный двор, где из них сооружают огромный крест высотой с двухэтажный дом.

Великолепное зрелище, когда масса народа несет зажженные в церкви свечки домой, словно живой огненный ручеек людей растекается по домам, унося зажженные в церкви свечки. Это называлось «страсти» с ударением на последнем слоге. Нужно принести свечу горящей, потому многие несут в кулечках из промасленной бумаги, через которую пробивается свет. Когда в кулечке, то порыв ветра может достать слабый язычок огня только сверху. Лишь чуть колыхнет, и свободная ладонь тут же инстинктивно дергается, прикрывая огонек от ветра.

С детства душа трепетала от восторга, когда в абсолютно темном мире появляются огоньки, их становится множество, и вот уже целая река огня течет через враждебную ночь... Люди идут медленно, торжественно, оберегая ладонями слабый трепещущий огонек.

Да, что-то в этом ритуале особое: вот так идти через ночь, идти медленно, идти и все время беречь огонек, не давать ему погаснуть, словно это и есть твоя душа, словно и есть та самая искорка, которую в человека вдохнул Бог, и ежели погаснет, то погаснет и сам человек... вернее, вернется в животное, каким был и каким стать очень легко.

Совсем легко стать животным: достаточно неосторожного движения, достаточно на миг забыть об этом огоньке. И так всегда и везде: идешь ли ты сейчас, держа в руках свечу, или же летишь в салоне лайнера, сидишь в кресле предпринимателя, президента, школьного учителя, работаешь ли менеджером, слесарем или дворником.

Не дай загасить твой огонек!

Мать почти не вижу: уходит рано, когда сплю, а приходит за полночь, так как работает на ткацкой фабрике ткачихой по две смены. Но сегодня редкий день, когда у нее выходной. Вернувшись из магазина, высыпала на стол три цилиндра из толстой бумаги, похожие на патроны восьмого калибра. Она улыбалась довольно, я спросил удивленно:

– Что это?

– Изобретение, – ответила она гордо. – Теперь не надо будет драться с мухами.

– Почему?

– Вот смотри, берешь за кончик, тут колечко, вытаскиваешь, а колечко цепляешь кверху...

За колечком, надетым на мой палец, потащилась по спирали желтая бумага, сладко пахнущая, покрытая желтоватой слизью, с виду напоминающей мед. Когда бумага натянулась, показывая, что все, дальше не пойдет, мама взяла за колечко и ловко подвесила к двужильному проводу на потолке, на котором в центре комнаты висит лампочка.

Любопытные мухи тут же тучей закружились вокруг, некоторые торопливо садились, стараясь опередить подруг, прилипали, отчаянно жужжали, крылья тут же прилипали, звонкий зуд обрывался... Я думал, что остальные поймут и станут держаться подальше, но они как одурели, садились и садились на липкую ленту, вскоре вся она оказалась усеянной темными комочками, а к вечеру уже потемнела так, что из темной вяло шевелящейся массы проглядывали только желтые пятна, а потом исчезли и они.

Мама сняла отяжелевшую ленту и выбросила в мусорное ведро, взамен подвесила новую. Не довольствуясь одной, еще одну подвесила возле открытого окна. Вскоре я уже видел, что мух в комнате стало меньше. Но у нас не осталось больше этих липучек!

– Они всего по двадцать копеек, – утешила мама. – Завтра еще подцепим.

С тех пор эти желтые липкие ленты развешиваются по всему дому и даже в коридоре. Ходишь, как между сталактитов, стараясь не задеть головой: сразу же прилипнешь, потом непросто высвободить волосы из липкой вязкой мази.

Эти патрончики стали продавать по пятнадцать копеек, а когда пошло массовое производство – по десять, а затем уже и по пять. Мы продолжали их развешивать в комнате, коридоре, на входе в дом.

Еще в аптеках появились новинки: желтые сухие листочки, на которых нарисованы мухи и черепа с оскаленными зубами. Я рассматривал долго, наконец аптекарша спросила участливо:

– Мальчик, ты забыл, что покупаешь гематоген?

– Да помню, помню, – пробурчал я с неловкостью. – А что вон то такое?

– Это новое средство против мух.

– Да?.. Его надо подвешивать?

– Нет, – объяснила она охотно, – здесь совсем другой принцип. Берешь блюдечко, наливаешь теплой воды...

Она объясняла подробно, доходчиво, я слушал, слушал, а потом вместо плитки гематогена купил несколько листочков и торопливо принес домой. В одно из блюдец с отбитым желтеющим краем, его не жалко, налил воды, положил листок отравленной бумаги и поставил на подоконник.

Конечно же, мухи налетели тут же. К моему разочарованию, пили с удовольствием, потом улетали, весело жужжа. Я рассердился, что за жульничество, хотел было вылить воду, что вовсе не яд, но тут на подоконник упала муха и, лежа на спине, вяло шевелила лапками. Я затаил дыхание, наблюдал. Муха вскоре издохла.

Все правильно, подумал запоздало, мухи и должны падать не сразу. Иначе другие поймут, что это яд, и расскажут другим. Да и начнут тонуть прямо в блюдце, а это напугает других. А так мрут и сами не знают, что не то съели или выпили.

Вечером, когда пришла мать с работы, я с торжеством доложил о самостоятельном действии. Усталая мать погладила по голове. Я чувствовал, как тяжела ее ладонь, горячая и покрытая твердыми мозолями.

– Молодец, сам додумался?

– Да, мама.

– А деньги где взял?

– Я гематоген в другой раз куплю.

Лебеди всегда означают неразрывную любовь, любовь до смерти, ибо лебеди женятся только раз, а если лебедиху убить, то лебедь взлетает высоко-высоко, поет печальную песню, а потом складывает крылья и – вниз, оземь, насмерть...

Потому на ковре, а у кого ковра нет, то на холстине или даже на клеенке обязательно рисуют двух целующихся лебедей и вешают на стенке у кровати. Это символ долгой счастливой жизни в любви и счастье.

Потом, когда рухнул железный занавес и наступила хрущевская оттепель, это признали мещанством, в моду вошел абстракционизм, в котором никто ничего не понимал, но все страшились в этом признаться и наперебой говорили, как это гениально и как восхитительно, покупали роскошные альбомы по абстракционизму и ставили на видное место, чтобы входящие видели: здесь живут очень современные люди.

Но тогда в каждом доме над кроватью висел коврик с целующимися лебедями. А у деда Савки так и вовсе лебедь плывет по озеру и везет в лодке витязя в доспехах и с мечом на плече. А женщина в белом машет платочком с берега.

Каждый день, усевшись кружком, как обезьяны, снимаем рубашки и бьем вшей. Дед Савка вообще придумал, как еще быстрее и проще: расстилает рубашку по столу и катает по ней бутылкой. Слышится частый хруст, рубашка покрывается серо-бурыми пятнышками.

В школе один-два урока тратим на то, что классами ходим на «прожарку». Там мы, раздевшись в предбаннике, принимаем душ, а наша одежда, подвешенная на железные крючья, медленно уплывает в камеры, где страшный жар убивает все живое.

Пройдя по широкому кругу, одежда возвращается к нам. Мы снимаем с крючьев еще горячую, странно пахнущую, одеваем и возвращаемся вместе с учителями в школу, на какое-то время полностью избавленные от вшей.

Во всех магазинах продают рыбий жир. Привозят в бочках, отпускают ведрами. Конечно, рыбьим жиром пытались поить и меня, это настолько отвратительное пойло, что никакие силы не могли заставить проглотить хотя бы чайную ложечку. В то же время мои товарищи могли пить стаканами, спокойно ели с хлебом. Многие наливали в тарелку, крошили хлеб и ели, зачерпывая ложками. Кто-то просто намазывал кусок черного хлеба этим противным рыбьим жиром, посыпал солью и ел с удовольствием, потому что так надо.

Во всяком случае, обилие и дешевизна рыбьего жира многих спасла от рахита и кучи болезней. Дети, рожденные в те годы, оказались гораздо более здоровыми и жизнеспособными, чем те, которые рождались через поколение, в благополучные годы.

Ну а дедушка нашел для него прекрасное применение: в ведро с рыбьим жиром на ночь ставил кирзовые сапоги, потом тщательно просушивал, и гордился непромокаемостью сапог. А тот рыбий жир выливали свиньям. У нас их уже несколько. Правда, из сарая роют такие глубокие норы, что потом, пройдя, как по тайному ходу из крепости, вылезают на середине двора, а одна подрыла даже под забор и вылезла на улице.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.